

*игорь*  
**КОН**

---

**бить или  
не бить?**



<http://books.vremya.ru>

Игорь Кон

**Бить или не бить?**

«WebKniga»

2012

## **Кон И. С.**

Бить или не бить? / И. С. Кон — «WebKniga», 2012

«Бить или не бить?» – последняя книга выдающегося российского ученого-обществоведа Игоря Семеновича Кона, написанная им незадолго до смерти весной 2011 года. В этой книге, опираясь на многочисленные мировые и отечественные антропологические, социологические, исторические, психолого-педагогические, сексологические и иные научные исследования, автор попытался представить общую картину телесных наказаний детей как социокультурного явления. Каков их социальный и педагогический смысл, насколько они эффективны и почему вдруг эти почтенные тысячелетние практики вышли из моды? Или только кажется, что вышли? Задача этой книги, как сформулировал ее сам И. С. Кон, – помочь читателям, прежде всего педагогам и родителям, осмысленно, а не догматически сформировать собственную жизненную позицию по этим непростым вопросам.

© Кон И. С., 2012

© WebKniga, 2012

# Содержание

Предисловие	5
Глава 1	10
Что значит «телесное наказание»?	10
Телесные наказания детей в культурно-исторической перспективе	17
Конец ознакомительного фрагмента.	27

# Игорь Семенович Кон

## Бить или не бить?

### Предисловие

В далекие послевоенные годы, когда я учился на истфаке Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена, у нас был большой курс истории педагогики. Читал его известный специалист в этой области профессор Е. Я. Голант (1888–1971). Читал хорошо, эмоционально, с отличным знанием дела. Все классики педагогики в его изложении были замечательными учеными и великими гуманистами. Но в какой-то момент каждой своей лекции Евгений Яковлевич глубоко вздыхал, грустнел и говорил: «Однако была у него одна ограниченность – телесные наказания детей он считал неизбежными». Поскольку это говорилось почти обо всех классиках педагогики (во всем остальном они друг с другом расходились и без этого не стали бы классиками!), мы смеялись, что, видимо, это единственная достоверно установленная педагогическая истина, которую от нас почему-то скрывают.

Повседневная жизнь это впечатление подкрепляла. Не то чтобы всех нас в детстве жестоко порол – лично меня никто никогда пальцем не тронул, но шлепки и тычки считались нормальной частью повседневной жизни. Не были исключениями и профессора педагогики. Летом после второго курса я вместе с однокурсниками работал воспитателем в пионерском лагере, и в старшем отряде там оказались два сына нашего профессора педагогики Леонида Евгеньевича Раскина (1897–1948). Это был замечательный человек, его курс – один из немногих, который я прослушал целиком, от начала до конца, потому что это было интересно. Однако сыновья его были большими неслухами, и когда в первое же воскресенье Раскин приехал в лагерь, он сказал моему приятелю: «Своих мальчишек я знаю, так что, если станет невмоготу и захочется дать ему подзатыльник, я в претензии не буду». Конечно, это была шутка, не думаю, что Леонид Евгеньевич на самом деле бил своих сыновей, да и мой однокурсник этим разрешением не воспользовался, но терпимость к телесным воздействиям была для нас нормальной.

Про Антона Семеновича Макаренко и говорить нечего. На словах он был против рукоприкладства, но мы все читали «Педагогическую поэму» и нисколько не сомневались в том, что, если бы Макаренко однажды не избил Задорова, ничего с этими хулиганами у него бы не получилось.

Практически на всем протяжении истории человечества порка считалась необходимым, а то и единственным эффективным средством воспитания. Не многим лучше обстоит дело и в современном мире. По данным многочисленных массовых опросов, 90 % американских родителей «верят» в порку; даже среди семей среднего класса, которые значительно либеральнее рабочих и фермерских семей, «не верят» в нее лишь 17 %. Достаточно широко распространены и соответствующие «педагогические» практики.

В то же время против телесных наказаний идет борьба. Их категорически осуждает Конвенция ООН о правах ребенка. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в 2004 г. провозгласила ни много ни мало *общевропейский запрет на телесные наказания детей*.

С некоторым опозданием заговорили об этой проблеме и в России, причем на самом высоком государственном уровне:

«Поистине страшная проблема – насилие в отношении детей. По официальным данным МВД, в 2009 г. от преступных посягательств пострадали более 100 тысяч детей и подростков... Известно, что жестокость порождает встречную жестокость. Дети ведь усваивают ту модель поведения, которую обычно демонстрируют им взрослые, а затем, конечно, переносят ее в свою

жизнь: школу, институт, армию и в собственную семью. Долг всего общества – сформировать атмосферу нетерпимости к проявлениям жестокого обращения с детьми, выявлять и пресекать подобные случаи» (Послание Президента РФ Федеральному Собранию 30 ноября 2010 г.).

Как либерал и гуманист я полностью разделяю эти идеи. Но насколько научно обоснованы и социально-педагогически реалистичны такие рекомендации? Мало ли в мире гуляет утопических идей, реализация которых заведомо невозможна, а попытки сделать это принесли бы больше вреда, чем пользы?

Чисто теоретический, историко-антропологический интерес к этой теме возник у меня еще в 1980-х годах. В книге «Ребенок и общество (историко-этнографическая перспектива)» (1988) я писал:

«Как же влияют телесные наказания на самосознание и чувство собственного достоинства ребенка? Сегодняшняя педагогика уверена, что отрицательно, и для условий, в которых порка выглядит исключительным, чрезвычайным событием, это заключение, вероятно, справедливо. Но ведь было время, когда порка детей была массовой. Можно ли сказать, что в таком обществе индивидуального достоинства вообще не было и быть не может? Вовсе нет.

Как уже говорилось, в средневековой Европе детей били и пороли повсеместно, но особенно распространенной была эта практика в Англии. Английские педагоги и родители XVI–XVII вв. славились жестокостью на всю Европу. <...> Официально санкционированная порка сохранялась в английских школах, в том числе аристократических, вплоть до самого недавнего времени. Тем не менее никто не упрекал английских джентльменов в отсутствии чувства собственного достоинства. Напротив, указание на развитое личное достоинство и гордость присутствует в любом иноземном стереотипе англичанина.

Чем объяснить этот парадокс? Может быть, порка, считающаяся нормальным элементом соционормативной системы, воспринимается индивидуальным сознанием не как что-то оскорбительное для личности, а как обычная рутинная процедура? Или психологический эффект порки снижается благодаря коллективной враждебности и ненависти воспитанников к деспоту-учителю, который может покарать, но не унижить, как не может унижить человека бездушная машина? Или психологический эффект имеет не столько способ наказания, сколько представления о его законности или незаконности, складывающиеся у ребенка в результате усвоения существующих независимо от его воли и данных ему школьных и иных правил?

Эта проблема ставится и в более общем социологическом плане. В 1958 г. У. Бронфенбреннер, проанализировав 15 проведенных между 1932 и 1957 гг. исследований о методах воспитания детей, пытался обобщить существующие в этой сфере классовые различия. Из этих данных вытекало, что родители из рабочей среды прибегают к телесным наказаниям чаще, чем представители средних слоев. По мнению последующих исследователей, это способствует большей распространенности в рабочей среде авторитарных установок, склонности к физическому насилию, жестокому обращению с детьми и поддержанию особой “субкультуры насилия” (драчливость, отождествление маскулинности с агрессивностью, высокий уровень преступности и т. п.). Однако детальный анализ позднейших исследований показал, что классовые различия в стиле воспитания детей существенно уменьшились, а основанные на них предположения, хотя и не утратили эвристического значения, не могут более считаться эмпирически обоснованными. Эта тема требует более детального изучения родительских ценностей и стиля воспитания в целом (надеюсь, что меня не заподозрят в желании реабилитировать порку)».

Всерьез заниматься этими вопросами я не собирался. Но несколько лет назад, когда я был в командировке в Швеции, меня пригласили выступить в местной организации «Спасите детей» («Save the Children»). Это одна из самых влиятельных и активных международных организаций по защите детей от жестокого обращения и телесных наказаний.

Должен признаться, что при всей моей искренней симпатии к их целям и задачам деятельность подобных сообществ всегда вызывала у меня легкий скепсис. В мире существует

множество организаций, стремящихся защитить всех от всего: животных от людей, людей от животных, женщин от мужчин, детей от взрослых, верующих от неверующих и т. д. и т. п. Все эти ассоциации исповедуют высокие нравственные принципы, но при ближайшем соприкосновении с ними они порой обнаруживают такую высокую степень догматизма и нетерпимости, что хочется отойти в сторонку.

Как говорили в позднесоветские времена, мировой войны не будет, но будет такая борьба за мир, что на Земле камня на камне не останется. К тому же некоторые защитники угнетенных живут по старому советскому анекдоту: «Что охраняем, то и имеем».

Однако шведские защитники детей никакого догматизма и экстремизма не излучали, разговаривать с ними было интересно и приятно. И я подумал: почему бы мне не заняться этой темой? Интересно, актуально, благородно, социально значимо и, в отличие от сексуального образования, на осиное гнездо не похоже (я просто был «не в теме»). Если уж спасти российских детей от неприятностей, порождаемых сексуальным невежеством, никак невозможно, может быть, их хотя бы бить станут меньше?

Бегло ознакомившись с мировой литературой, я с удивлением обнаружил, что ни в одной международной базе данных никаких сведений о состоянии дел в России нет, хотя до Октябрьской революции научных публикаций на эту тему было довольно много, а в русской классической литературе этот сюжет был одним из основных. Я решил попытаться восполнить пробел, и Российский гуманитарный научный фонд, который финансировал почти все мои предыдущие исследования, любезно предоставил мне грант № 08-06-00001а на тему «Телесные наказания в социально-педагогической перспективе».

Как и все прочие мои исследования, работа была задумана как глобальная, сравнительно-историческая и междисциплинарная, имеющая как минимум три взаимосвязанных автономных аспекта:

1. *Историко-антропологический* – насколько распространены в разных человеческих культурах и обществах телесные наказания, в чем они заключаются, каковы их социальные функции, с какими социально-структурными и этнокультурными факторами они связаны, как соотносятся друг с другом нормативный канон воспитания (представления о должном) и реализующие его конкретные телесные практики.

2. *Психолого-педагогический* – насколько эффективны эти телесные практики, каковы их непосредственные и отдаленные результаты, какое краткосрочное и долгосрочное влияние они оказывают на участников процесса, наказуемых и наказующих, а если порка является публичной, то и на зрителей, и как сказываются изменения соответствующих практик на морально-психологических свойствах детей и молодежи?

3. *Сексологический* – какова взаимосвязь телесных наказаний с тем психосексуальным комплексом, который психиатры и сексологи называют спанкинг-фетишизмом (потребностью в порке), БДСМ или садомазохизмом (СМ). Моралисты и защитники розги эту тему обычно стыдливо обходят, зато ее широко обсуждают психоаналитики и литературоведы, особенно в связи с биографиями знаменитых людей, на всю жизнь сохранивших привязанность к порке.

Разумеется, моя книга не является ни первой, ни исчерпывающей. Телесным наказаниям посвящена поистине необозримая научно-исследовательская и популярная литература. Моя задача состоит лишь в том, чтобы извлечь из нее социально-педагогический смысл и помочь читателю, прежде всего педагогу и родителю, осмысленно, а не догматически сформировать собственную жизненную позицию по этим непростым вопросам. Исходя из этого, я старался сделать книгу максимально ясной и удобочитаемой.

В первой главе «Культурная антропология телесных наказаний» обсуждаются мировоззренческие, философские основы темы: что значит «телесное наказание», как оно соотносится с понятиями воспитания, дисциплины и насилия, как относятся к телесным наказаниям раз-

ные культуры и религии и как выглядят соответствующие социально-педагогические практики в сравнительно-исторической перспективе.

Вторая глава «Немного истории» посвящена истории телесных наказаний детей в странах Запада. Меня интересует не столько развитие педагогических теорий, сколько конкретные дисциплинарные практики и то, как они осуществлялись в семье и школе.

Вы можете спросить: зачем углубляться в историю, если всем и так известно, что детей всегда пороли? Однако без исторического экскурса невозможно понять не только прошлое, но и современное состояние общественного сознания. Существующая по затрагиваемым мною вопросам огромная научная литература фрагментарна, противоречива и широкому читателю недоступна. Чтобы избежать утомительной скачки галопом по Европам, в качестве главного места действия я выбрал Англию, в которой телесные наказания существовали особенно долго, почти до конца XX в., и были, пожалуй, наиболее жестокими. Кроме того, в молодости я был специалистом по истории Англии XVII в. Затем коротко рассматривается история телесных наказаний во Франции и в Германии и более подробно – шведский эксперимент. Швеция стала первой страной, которая законодательно запретила телесные наказания не только в школе, но и в семье.

Меня интересуют не только и не столько сами наказания, что и как с детьми делали, сколько субъективная сторона дела: как сами дети воспринимали, переживали и осмысливали порку и ее влияние на их позднейшую, взрослую жизнь. Ведь именно из ретроспективного осмысления детских переживаний постепенно вырастает идея прав ребенка и требование полного запрета телесных наказаний. Истории и реальным результатам, на основе международной статистики, этого движения, посвящены два последних параграфа главы.

Место действия третьей главы – дореволюционная Россия. Поскольку наказание детей по определению не может существенно отличаться от дисциплинарных методов, применяемых к взрослым, начинать приходится с сечения взрослых, которое было одним из устоев самодержавного крепостнического порядка, и отношения к нему государственной церкви и «просвещенных» слоев тогдашнего русского общества. Далее, с опорой на мемуарную и художественную литературу, описываются практики телесных наказаний в школах и других учебных заведениях XVIII–XIX вв., показывается, как долго и мучительно русская общественная мысль добивалась либерализации и гуманизации школьного воспитания (особенно важна в этой связи знаменитая полемика между Н. И. Пироговым и Н. А. Добролюбовым) и как эволюционировала русская семейная педагогика. Не будучи специалистом по истории России, я не претендую на научные открытия в этой области знания. Но систематических исследований этой темы нет, а без них невозможно разобраться в том, что же, собственно, представляет собой «отечественная традиция» и какое историческое наследие мы (не государство, а я и мой воображаемый читатель) хотели бы увековечить, а какое, наоборот, преодолеть.

Как и в предыдущей главе, я подробно излагаю и цитирую личные документы, автобиографии и художественные произведения. Многие из этих источников общеизвестны, некоторые даже хрестоматийны. Но собранные вместе они производят гораздо более сильное впечатление, чем это возможно в школьном курсе истории и литературы. Прочитав этот сугубо описательный, нарративный материал, вдумчивый читатель не только лучше поймет прошлое, но и морально подготовится к его последующему теоретическому обсуждению.

Четвертая глава «Телесные наказания в советской и постсоветской России» является историко-социологической. Она открывается кратким очерком о проблеме телесных наказаний в советской школе и семье, о том, как соотносились в этом вопросе теория и практика и почему в 1980-х годах необходимость защиты детей от жестокого обращения и телесных наказаний была осознана и вышла на страницы советских изданий в качестве важнейшей социально-нравственной задачи. Затем описывается социальное положение детей в современной России, показывается, что насилие над детьми очень часто лишь притворяется наказанием. На



основе анализа массовых опросов общественного мнения прослеживается, как исторически меняются отношение россиян к телесным наказаниям и их реальные дисциплинарные практики; какие социально-экономические слои и группы населения поддерживают, а какие осуждают телесные наказания детей; какие за этим стоят политические и идеологические интересы; как права ребенка соотносятся с правами человека и как все это связано с процессами модернизации России.

Пятая глава «Каков эффект телесных наказаний?» является преимущественно психологической и содержит критический анализ новейшей мировой научной литературы по этому вопросу (в России масштабных исследований этой темы нет, споры идут на уровне «мнений», ссылок на авторитеты и личный опыт). Оценивая данные и выводы специальных исследований, я пытаюсь ответить,

а) насколько эффективно телесное наказание с точки зрения поставленных перед ним частных задач по сравнению с другими методами дисциплинирования,

б) является ли оно успешной школой послушания и

в) каковы его побочные и долгосрочные психологические последствия.

Эта тема распадается на ряд подвопросов: как телесные наказания влияют на агрессивность ребенка и его склонность к насилию, на физическое и психическое здоровье ребенка, на взаимоотношения в семье, на когнитивные процессы и умственные способности ребенка. Поскольку научные исследования, как правило, не дают однозначных выводов типа «это хорошо, а это плохо», особое внимание уделяется оценке их методологии и степени доказательности.

Так как такого рода специальная литература у нас никогда и никем не анализировалась, эта глава особенно важна для практических психологов.

Последняя, шестая глава «Порка как удовольствие» рассматривает телесные наказания в сексологической перспективе. Какие эротические чувства вызывают телесные наказания у подвергающихся им детей и подростков и у осуществляющих эти наказания взрослых? Насколько вероятно закрепление этих чувств и переживаний в виде пожизненной привязанности к порке? Как объясняют и оценивают данные явления современная психиатрия и сексология? Можно ли «профилактировать» их возникновение или проще воздерживаться от телесных наказаний детей?

В заключительной главе «Так все-таки – бить или не бить?» подводятся теоретические итоги и делаются практические выводы.

Данная книга является по своему жанру научно-популярной и предназначена для широкого круга читателей, прежде всего для родителей. Поэтому я старался избегать технических терминов и объяснять рассматриваемые проблемы максимально просто и понятно. Но так как многие обсуждаемые в ней вопросы в России ранее не освещались, а актуальность их неуклонно возрастает, книга может заинтересовать и некоторых профессионалов.

Исходя из этой двойственности потенциального адресата, я применил двойной стандарт в библиографии. Чтобы не утяжелять основной текст книги, общеизвестные литературные источники, которые легко найти в Интернете, цитируются без точных библиографических ссылок. Напротив, использованные научные труды присутствуют в списке литературы достаточно полно, и профессионалу имеет смысл обращаться к первоисточникам.

*Игорь Кон*

*Январь 2011*

# Глава 1

## КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЙ

*О, детства солнечные дни!  
О, годы счастья, где они?  
Где розга золотая?*  
*Адельберт Шамиссо*

### Что значит «телесное наказание»?

Понятию и сущности наказания посвящена необозримая философская, религиозная, юридическая, психолого-педагогическая, историко-антропологическая и социологическая литература. Последняя известная мне обобщающая философская статья на эту тему, опубликованная в Стэнфордской философской энциклопедии, датирована 2010 г. (Bedau, 2010), а отечественная кандидатская диссертация – 2009-м (Блюхер, 2009). Даже поверхностный обзор этой литературы, не говоря уж о содержательном ее анализе, явно превосходит мои возможности. В данном параграфе я ограничусь самыми общими определениями и формальными параметрами, без которых обсуждение и расчленение темы невозможно.

Толковые словари определяют «наказание» по-разному. В словарях Даля и Фасмера этого слова нет. Согласно словарю Ожегова, наказание – это «мера воздействия против совершившего преступление, проступок». По словарю Ушакова, это «взыскание, налагаемое имеющим право, власть или силу, на того, кто совершил преступление или проступок; кара». Английское *punishment* происходит от глагола *to punish*, впервые зафиксированного в 1340 г. и восходящего к старофранцузскому *puniss-*, в основе которого лежит латинский глагол *punire* – наказывать, причинять боль за какие-то нарушения. Более ранняя его форма – *poenire*, от слова *poena*, которое, возможно, вдохновлялось финикийским способом казни путем распятия.

В самом общем значении слова, наказание – это применение к человеку или животному каких-то неприятных или нежелательных для него мер воздействия, причинение ему страдания в ответ на неповиновение или нежелательное, антинормативное поведение.

Энциклопедические определения термина зависят от контекста.

В юридической, особенно уголовно-правовой, литературе «наказание» обычно рассматривается в связи с «преступлением». Согласно Словарю основных уголовно-правовых понятий и терминов (Баранов, Марфицин, 2001), наказание – «мера государственного принуждения, назначаемая от имени государства по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении преступления, и влечет лишение или ограничение прав и свобод этого лица...» «Большой юридический словарь» определяет наказание как «меру государственного принуждения, назначаемую по приговору суда».

В психолого-педагогической и этической литературе чаще фигурирует связка «поощрение и наказание», именно в этой последовательности. Речь идет не столько о том, кто и как осуществляет наказание, сколько о соотношении положительных и отрицательных мер воздействия, условиях их применения, степени эффективности и моральной обоснованности.

Свести это многообразие значений, смыслов и контекстов к какому-то общему знаменателю едва ли возможно, но можно выделить в них ряд универсальных формальных компонентов. Всякое наказание есть форма властного принуждения, которое предполагает определен-

ное социальное, позиционное неравенство. В любом акте наказания присутствует несколько компонентов:

1. Агент, наказующий субъект, который предписывает и/или осуществляет наказание. Эти роли не обязательно совмещаются в одном и том же физическом или юридическом лице (законодатель, судья и палач – разные лица). Наказующий субъект может быть не только индивидуальным, но и коллективным, а его ответственность – разделенной и многоступенчатой.

2. Объект, реципиент наказания. Поскольку наказание применимо лишь к живым, обладающим сознанием существам (Ксеркс (486–465 до н. э.), воины которого выпороли развевавшее персидский флот непослушное море, – исключение), отношение между наказующим и наказуемым по определению является субъектно-субъектным. Наказать можно только того, кто способен испытывать страдания и осознать их связь со своими «неправильными» действиями. В этом смысле коррелятом наказания является «вина». Так как свобода наказуемого ограничена, нормативно он выступает не столько как действующее лицо, сколько как объект соответствующих манипуляций. Тем не менее, это всегда интерактивный процесс. Реакции наказуемого, будь то крики, слезы, просьбы о прощении или, напротив, сопротивление, брань и бесчувственность, подкрепляют или подрывают власть наказующего субъекта, вызывая у него ответные эмоциональные и иные реакции.

3. Действия, посредством которых осуществляется наказание. Диапазон их может быть очень широк, от словесного неодобрения или жеста неудовольствия до жестокой порки, пытки и даже смертной казни.

4. Инструменты, средства наказания, будь то слово, тюремная камера или розга.

5. Легитимация – способы обоснования наказания, доказательства его необходимости, правомерности и соразмерности.

Как уже сказано, всякое наказание предполагает принуждение: одна сторона причиняет страдания другой, заставляя делать то, чего той делать не хочется, или не позволяя делать то, чего хочется (ограничение свободы или материальных возможностей). Но в отличие от простого насилия, основанного на неравенстве физической силы, наказание есть часть социальной системы и нормативной культуры. Оно предполагает некоторую легитимность, соблюдение определенных правил, которые в той или иной степени признаются обеими сторонами отношения и третьими лицами. Даже расходясь в оценке справедливости и правомерности конкретного наказания, за что и насколько адекватно оно применяется, люди в принципе признают правомерность таких действий и ролей. Там, где этого нет, налицо не наказание, а принуждение.

В основе легитимации лежит принцип иерархии, исторически конкретная вертикаль власти: высший, обладающий властью, имеет право наказывать низшего, зависимого. Начальник может наказывать подчиненного, победитель – побежденного, родитель – ребенка, учитель – ученика. Обратное же невозможно, это – бунт, нарушение не просто одного из правил, но подрыв всей властной вертикали. Именно поэтому оно так соблазнительно и всегда присутствует в воображении наказуемого. Социальные иерархии выстраиваются по-разному. В мальчишеских группах на первый план выступает физическая сила, в патриархальной семье – старшинство, порядок рождения (каждый старший может приказывать каждому младшему и наказывать его) и/или гендер (мальчик, как правило, влиятельнее девочки) и т. п. При этом границы власти и способы наказания тонко нюансируются.

В отличие от насилия, которое может быть произвольным, – это описывается социологическим термином «аномия» (отсутствие норм) или уголовной метафорой «беспредел», – наказание нормативно и тяготеет к системности и кодификации (это особенно наглядно в юриспруденции). Однако философия, социология и психология описывают эту нормативность по-разному и в разных терминах. В одних случаях на первый план выходят подразумеваемые интересы социума, общества как целого, в других – интересы отдельной социальной группы

или общности (семьи, школы, учреждения), в третьих – социально-психологические закономерности диадического (парного) и группового взаимодействия индивидов.

Наказание является сознательным действием, наказующий субъект всегда преследует какую-то цель. Диапазон этих целей очень широк. Это может быть:

- а) возмездие за причиненный материальный или моральный ущерб;
- б) устрашение, чтобы наказуемый прекратил запретные действия и не повторял их в дальнейшем;
- в) долгосрочное изменение ценностных ориентаций и мотивации наказуемого, побуждение его не только воздерживаться от отрицательных (осуждаемых) поступков, но и совершать поступки, которые его начальники или воспитатели считают правильными, желательными (просоциальное поведение).

Очень важный вопрос теории наказания – какое влияние оно оказывает не только на конкретного наказуемого, но и на других людей, которые находятся или могут оказаться в сходной жизненной ситуации (наказание как назидательный пример).

Философия, социология или психология наказания не являются самодовлеющими. Любая теория и практика наказаний прямо или косвенно опирается на принятую или имплицитную (молчаливо подразумеваемую) в данном социуме (культуре) теорию личности, включающую теорию мотивации, предполагаемую степень самостоятельности и индивидуальности, соотношение наказаний (отрицательное подкрепление) и поощрений (положительное подкрепление) и многое другое.

Поэтому любая, как житейская, так и научная, оценка принятой в обществе системы наказаний и конкретных случаев их применения является множественной и проводится с разных, зачастую несовпадающих, точек зрения:

- а) с точки зрения принятой в данном обществе системы философско-нравственных ценностей, представлений о том, что можно и чего нельзя делать с человеком;
- б) с точки зрения законности, соответствия наказания действующей системе права;
- в) с точки зрения житейских норм справедливости, включая представления о соразмерности проступков и наказаний;
- г) с точки зрения их эффективности – достигают ли наказания поставленных целей.

Ответ на последний вопрос, который для практической и социальной педагогики особенно важен, как правило, неоднозначен. Во-первых, эффект наказания может быть неодинаковым в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. Во-вторых, наказания, как и все прочие социальные институты, имеют не только явные, но и скрытые, латентные, функции. Строгие наказания за несанкционированные уличные шествия официально направлены на поддержание общественного порядка, но одновременно служат средством борьбы с политической оппозицией и подавления нежелательных для власти социальных инициатив. Отсюда и неоднозначность их результатов. С одной стороны, эти меры укрепляют власть, а с другой – подрывают ее авторитет и придают любой неофициальной инициативе потенциально деструктивный характер. Слабая, лишенная общественной поддержки власть устрашает наказания, усиливая тем самым сопротивление и способствуя политическому радикализму. Иными словами, авторитарная власть сама рубит сук, на котором сидит. В том же ключе можно рассматривать и более близкие к нашей теме проблемы школьной дисциплины.

Как выглядит в свете вышесказанного понятие телесных (или физических) наказаний?

Сколько-нибудь строго научно разграничить физическое, телесное воздействие на человека и психическое, обращенное к его сознанию, ни философски, ни психологически невозможно. Физическое наказание – это наказание путем причинения боли, но переживание боли неразрывно связано с общим психическим состоянием индивида, а душевные страдания зачастую бывают мучительнее телесной боли.

Однако, если рассматривать вопрос не в психофизиологическом, а в историко-антропологическом контексте, это разграничение отнюдь не бессмысленно. Проблематизация телесных наказаний, появление сомнений в их правомерности и требование их ограничения или запрета – важный показатель уровня развития и свободы личности. И начинается этот процесс не с детей, а с взрослых. Образ ребенка – всего лишь модальность, частный случай принятого культурой нормативного канона Человека. До тех пор, пока считается допустимым физически наказывать, бить взрослых, разговор о том, что не следует бить детей, как правило, даже не возникает. В этом смысле историческая эволюция теории и практики телесных наказаний чрезвычайно поучительна.

Эмпирическая история наказаний вообще и телесных наказаний в особенности часто сосредоточивает внимание на поведенческих и инструментальных моментах, красочно описывая, чем и как людей били, пороли, пытали и т. д. Эти картины, вызывающие у читателей и зрителей не только эмоциональное, но и сексуальное возбуждение (чтобы испытывать его, совсем не обязательно быть садистом или мазохистом), неизменно пользуются коммерческим успехом. Но самыми сложными, проблематичными и исторически изменчивыми представляются не материальные, а культурно-символические аспекты наказания.

В древнейших человеческих обществах наказание практически не отличалось от мести. По отношению к чужакам, «врагам» применение насилия вообще не требовало оправдания, здесь действовало животное право сильного: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!» Внутри собственного сообщества, связанного чувством «мы», тотальная война всех против всех была невозможна. Если кто-то из членов рода или общины нарушал принятые в ней правила общежития, он подлежал наказанию, которое понималось как отмщение. Последнее могло быть как групповым, родовым или семейным (кровная месть), так и индивидуальным. На определенном этапе развития религиозного сознания воплощением и персонификацией этой ретрибутивной (от латинского «ретрибуция» – воздаяние) справедливости становится Бог: «Мне отмщение и Аз воздам» (Второзаконие, 32: 35; Послание к Римлянам, 12:19). Затем эту функцию берет на себя государство.

Древнейшие наказания были телесными и крайне жестокими. Человек, у которого не было собственности, мог расплачиваться за свои преступления исключительно собственным телом. Причинение боли или ампутация какой-то части тела казались естественным способом воздаяния: око за око, зуб за зуб. Однако свести проблему наказания к телесным манипуляциям общество не могло, болевые приемы сплошь и рядом непрактичны, племя не могло себе позволить увеличивать число физически неполноценных людей. С появлением собственности уже в древнейших человеческих обществах наряду с физическими наказаниями, а отчасти как их замена появляется дифференцированная система штрафов. За каждый проступок устанавливается определенная такса, на основании которой правонарушитель и его близкие могли «выкупить» (искупить) его вину.

Однако об отмене телесных наказаний в древности даже речи быть не могло. Пытка была одновременно карой и средством дознания, получения от обвиняемого необходимой информации и признания своей вины. Кроме того, казнь была публичным зрелищем, народным праздником. Мучения одного человека служили развлечением и доставляли радость многим другим. Историки спорят, чьи пытки и казни были более изощренными и мучительными – европейские, китайские, японские или в доколумбовых цивилизациях ацтеков и майя. Больше всего, естественно, привлекает экзотика, то, что отсутствует в собственной культуре.

Например, в Китае вплоть до XX в. самым распространенным видом наказания было битье батогами, которые изготавливались из особого вида «темного бамбука», сочетавшего высокую плотность ствола с гибкостью. Батог представлял собой палку длиной свыше полутора метров и толщиной около пяти сантиметров. Наказуемого клали на землю вниз лицом, чтобы нижняя часть спины выдавалась вверх. Один из экзекуторов держал жертву за голову, двое

за руки и двое за ноги. Сбоку стоял экзекутор с батогами, еще один отсчитывал удары. Порка происходила публично, при большом скоплении народа. Наказуемый должен был кричать и просить пощады, иначе его поведение воспринималось как непризнание своей вины и злостное неповиновение, что было чревато новыми, еще более суровыми наказаниями. После экзекуции жертву тащили к начальнику, и она благодарила за оказанную милость.

Наказания были массовыми. Когда император Уцзун (1506–1521) собрался однажды совершить увеселительную поездку в Южный Китай, 107 придворных пытались отговорить его от путешествия. Император разгневался и приговорил их к пяти суткам стояния на коленях, а затем к тридцати палочным ударам. Те, кто и после этого остался при своем мнении, получили еще по сорок-пятьдесят ударов. Всего «придворными батогами» было наказано 146 человек, одиннадцать из них скончались (Книга дворцовых интриг, 2002).

Не отставала от Востока и христианская Европа. Английский словарь телесных наказаний наряду с общим, родовым понятием *flogging*, которое может обозначать любую серьезную порку (любое наказание битьем), от кнута до розги, включает *whipping* (сечение хлыстом или розгой), *birching* (сечение березовой веткой, отсюда и термин), *caning* (битие палкой или тростью), *spanking* (шлепанье ладонью или плоским предметом), *smacking*, *slapping* и т. п. Не говоря уж о таких серьезных наказаниях, как клеймение или отсечение отдельных частей тела.

Во второй половине XVIII в. в эпоху Просвещения европейская философия, а затем и практика наказаний стали меняться. Провозвестником этих перемен был итальянский мыслитель, публицист, правовед и общественный деятель Чезаре Беккариа (1738–1794). В своем знаменитом «Трактате о преступлениях и наказаниях» (1764) Беккариа писал:

«Из простого рассмотрения истин, изложенных выше, с очевидностью следует, что целью наказания является не истязание и доставление мучений человеку и не стремление признать совершившимся преступление, которое уже совершено. Может ли в политическом организме, призванном действовать, не поддаваясь влиянию страстей, и умиротворять страсти индивидов, найти приют бесполезная жестокость, орудие злобы и фанатизма или слабости тиранов? И разве могут стоны несчастного повернуть вспять безвозвратно ушедшее время, чтобы не свершилось уже свершенное деяние? Цель наказания, следовательно, заключается не в чем ином, как в предупреждении новых деяний преступника, наносящих вред его согражданам, и в удержании других от подобных действий. Поэтому следует применять такие наказания и такие способы их использования, которые, будучи адекватны совершенному преступлению, производили бы наиболее сильное и наиболее длительное впечатление на души людей и не причиняли бы преступнику значительных физических страданий» (Беккариа, 2004).

Беккариа выступает не только против смертной казни, но и против пытки как инструмента дознания: «Пытка есть жестокость, освященная практикой большей части наций, тем не менее в процессе пыток продолжают выбивать признание в совершении преступления. Загоняя в ловушку противоречий, устанавливая соучастников, под видом очищения от позора бесчестия обвиняемому вменяют преступления, к которым он мог быть причастен, но обвинение в которых ему не предъявлено».

По мнению итальянского юриста, такая система дознания и доказательства неэффективна:

«Человек не может быть назван преступником, пока это не определено судебным решением... Дилемма не нова: факт преступления установлен или не установлен. Если установлен, то не нужно иных мер наказания, чем устанавливаемые законом, тогда бесполезны пытки, поскольку нет надобности в признании преступника. Если факт не установлен, то невиновного тем более нельзя пытать, поскольку, согласно закону, он есть человек, преступления которого не доказаны».

«Позорная наковальня истины является памятником еще существующего древнего законодательства дикарей, когда пытки огнем и кипящей водой называли приговором Господа,

словно кольца вечной цепочки, берущей начало с Божественного Первоначала, могут в любой момент распасться из-за людской прихоти. Единственная разница между пытками и убеждением при помощи огня и кипятка заключается, по-видимому, в том, что в первом случае эффект достигается тем, что зависит от воли преступника, а во втором – от чисто физического факта.

Разница, впрочем, иллюзорная, ведь не свободны признания, когда тебя душат, даже и без помощи кипятка.

Любое действие нашей воли пропорционально силе ощущаемого впечатления, своего источника. Однако чувствительность любого человека лимитирована. Следовательно, давление боли может, нарастая, заполнить его так, что не останется более никакой другой свободы, разве что выбрать кратчайший путь к прекращению мучений. Тогда ответ преступника будет по необходимости таким же, как эффект от кипятка или огня. Любое отличие между мерами воздействия исчезает в момент, когда думают, что получили искомый результат. Это самое надежное средство оправдать и раскормить отпетых злодеев и осудить невинных. Таковы фатальные последствия претенциозного критерия истины, критерия, достойного каннибала, именно такие пытки римляне, а также варвары применяли только к рабам, жертвам их перехваленной добродетели».

Суждения итальянского мыслителя-правоведа о безнравственности и неэффективности телесных наказаний поддержал и развил английский философ Иеремия Бентам (1748–1832). Один из неустрашимых пороков телесных наказаний, по Бентаму, – исполнительский произвол. Даже если количество ударов четко зафиксировано в законе, их реальная сила целиком зависит от палача, который может извлекать из этого выгоду, в результате чего преступник будет наказан не соразмерно тяжести своего преступления, а в соответствии со своим имущественным положением.

Сами по себе новые философские идеи не могли, конечно, изменить повседневную жизнь, тем более что либералы никогда не были в обществе в большинстве, а народным массам жестокие телесные наказания импонировали. Но динамичная и индивидуализированная жизнь буржуазного общества не могла развиваться в рамках феодального права и морали. Речь шла не столько о смягчении наказаний, сколько об изменении их целей и смысла и, как следствие этого, о выборе других, более разнообразных и тонких средств и методов. Эмпирическая история этого процесса описана во многих книгах, самую глубокую философскую его интерпретацию дал французский философ Мишель Фуко в своей знаменитой книге «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» (1975 г.).

Прослеживая эволюцию уголовного наказания от средневековых казней к современным системам штрафов и изоляции преступников в тюрьмах, Фуко усматривает суть этого процесса в переходе от мщения, субъектом которого был монарх, к более практичным, утилитарным методам устрашения и реабилитации.

Традиционное наказание было, во-первых, телесным, от причинения боли до лишения жизни, и, во-вторых, публичным. Публичность усиливала эффект жестокости казни и унижения преступника. Но на общественное сознание это влияло неоднозначно. Фуко цитирует официальные документы, подробно описывающие одну из последних парижских публичных казней – казнили совершившего неудачное покушение на Людовика XV Робера-Франсуа Дамьена.

Второго марта 1757 г. его приговорили к публичному покаянию перед центральными воротами Парижского Собора. Дамьена «надлежало привезти туда в телеге, в одной рубашке, с горящей свечой весом в два фунта в руках», затем «в той же телеге доставить на Гревскую площадь и после раздирания раскаленными щипцами сосцов, рук, бедер и икр возвести на сооруженную там плаху, причем в правой руке он должен держать нож, коим намеревался совершить цареубийство; руку сию следует обжечь горячей серой, а в места, разодранные щипцами, плеснуть варево из жидкого свинца, кипящего масла, смолы, расплавленного воска и расплав-

ленной же серы, затем разодрать и расчленив его тело четырьмя лошадьми, туловище и оторванные конечности предать огню, сжечь дотла, а пепел развеять по ветру» (Фуко, 1999).

Что и говорить, это было впечатляющее зрелище. Но кого и чем оно впечатлило? Народ, естественно, рукоплескал жестокой казни, тем более что даже Вольтер, «совесть эпохи», признал ее заслуженной. Но уважения к монархии эта казнь не прибавила. Не прошло и сорока лет, как под восторженные крики толпы публичной казни подверглась королевская чета и многие аристократы.

В конце XVIII – начале XIX столетия, несмотря на отдельные яркие вспышки, это мрачное карательное празднество начинает угасать. Время публичных казней и телесных наказаний прошло, «казнимое, пытаемое, расчленяемое тело, символически клеймимое в лицо или плечо, выставляемое на публичное обозрение живым или мертвым», исчезло. Наказание постепенно перестает быть зрелищем. Церемониал наказания сходит со сцены, сохраняясь только как новый процедурный или административный акт.

Говоря словами Фуко, «наказание перестает быть театром, все, что остается в нем от зрелища, отныне воспринимается отрицательно, как будто этот ритуал, который “завершал” преступление, заподозрили в недолжном родстве с последним: словно заметили, что он равен, а то и превосходит по степени варварства само преступление, приучая зрителей к жестокости, тогда как он должен отвращать от нее. Публичная казнь выдает в палаче преступника, в судьях – убийц, она в последний момент меняет роли, превращая казнимого преступника в объект сочувствия или восхищения.

В свете этой новой философии наказание постепенно становится наиболее скрытой частью уголовной процедуры; покидая область едва ли не повседневного восприятия, оно входит в сферу абстрактного сознания; эффективность наказания достигается его неотвратимостью, а не зрелищным воздействием; не ужасающее зрелище публичного наказания, а именно неизбежность наказания должна отвращать от преступления» (Там же).

Параллельно этому наказание перестает быть телесным. Телесные наказания взрослых в европейских государствах были отменены в начале XIX века (во Франции в 1791 году, в Пруссии в 1845-м, в Австрии в 1864-м) как подавляющие чувство человеческого достоинства в личности и способствующие грубости нравов. В Англии они были сохранены для несовершеннолетних и особо опасных взрослых преступников. Если прежде преступников подвергали пыткам, то в тридцатые годы XIX века их стали помещать под строгий тюремный надзор, исключая всякое насилие над телом. Это было не только и даже не столько смягчение наказания – длительное, не говоря уж о пожизненном, тюремное заключение для некоторых людей страшнее одномоментной смерти, – сколько изменение его социальной природы.

Формируется новое представление о субъекте преступления и новое, рационально-расчетливое отношение к человеческому телу. Субъектом преступления вместо тела преступника становится его душа. Наказание болью заменяется лишением свободы, которое не позволяет правонарушителю продолжать свои преступные деяния и побуждает его задумываться о своей ответственности. Утверждается, что усиление нетерпимости к преступлению может сочетаться с терпимостью к подсудимому, что для предотвращения преступлений важна не столько строгость наказаний, сколько убеждение граждан в их неотвратимости, обосновывается необходимость профилактики преступлений и т. д. и т. п.

Какое отношение все это имеет к педагогике?



## **Телесные наказания детей в культурно-исторической перспективе**

Ни одно древнее общество не рассматривало своих детей как врагов или преступников. Напротив, они везде были предметом заботы. Но традиционное общество не было и не могло быть детоцентристским. Для этого у него слишком мало материальных ресурсов. Слабый и зависимый ребенок – естественная жертва всех злоупотреблений не только родителей, но и любых старших. Его социализация, включая дисциплинирование, осуществляется принципиально теми же средствами, которые применяются к взрослым. Нормативный образ ребенка – плоть от плоти нормативного образа взрослого человека, каким ребенок рано или поздно должен стать.

Однако историю детства невозможно представить как единый и однонаправленный эволюционный процесс. Именно эту ошибку совершает «психогенная теория истории» американского психоаналитика, основателя Института и Общества психоистории Ллойда Де Моза (см.: Де Моз, 2000).

В отличие от эмпирической, описательно-нарративной истории, психоистория, по Де Мозу, – независимая отрасль знания, которая не описывает отдельные исторические периоды и факты, а устанавливает общие законы и причины исторического развития, коренящиеся во взаимоотношениях детей и родителей.

«Центральная сила исторического изменения – не техника и экономика, а “психогенные” изменения в личности, происходящие вследствие взаимодействий сменяющихся друг друга поколений родителей и детей».

Этот общий тезис раскрывается в серии гипотез, подлежащих проверке на основе эмпирических исторических данных:

1. Эволюция взаимоотношений между родителями и детьми – независимый источник исторического изменения. Происхождение этой эволюции коренится в способности сменяющихся друг друга поколений родителей возвращаться (регрессировать) к психическому возрасту своих детей и разрешать связанные с этим возрастом тревоги лучше, чем они это делали в период своего собственного детства. Этот процесс похож на психоанализ, который также предполагает возврат к пройденному, давая личности второй шанс встретиться с ее детскими тревогами.

2. «Генерационное давление» к психическому изменению автоматически, само собой, вытекает из потребности взрослого человека вернуться к пройденной фазе своего развития и из стремления ребенка к контакту с взрослыми, независимо от каких бы то ни было социальных и технологических изменений. Поэтому его можно обнаружить даже в периоды социального и технического застоя.

3. История детства представляет собой последовательный ряд все более тесных сближений между взрослым и ребенком, причем каждое такое сокращение психического расстояния между ними вызывает новую тревогу. Уменьшение этой тревожности взрослых – главный стимул педагогической практики каждого периода.

4. Из предположения, что история означает общее улучшение ухода за детьми, вытекает, что чем глубже мы уходим в прошлое, тем менее эффективными будут способы, которыми родители отвечают на развивающиеся потребности ребенка. Так что, например, если в сегодняшней Америке жертвами плохого обращения являются меньше миллиона детей, то в прошлой истории должен быть такой момент, когда подобным образом обращались с большинством детей, и такое положение считалось нормальным.

5. Поскольку психическая структура всегда передается из поколения в поколение сквозь узкую воронку детства, воспитательные обычаи общества являются не просто одной из его

культурных черт, а главным условием трансмиссии и развития всех прочих элементов культуры; они ставят определенные (четкие) пределы тому, что может быть достигнуто во всех других сферах истории. Специфический детский опыт – необходимая предпосылка поддержания соответствующих культурных черт, а как только меняются детские переживания, исчезают и связанные с ними черты культуры.

В соответствии с этими идеями Де Моз подразделяет всю историю детства на шесть периодов, каждому из которых соответствует определенный стиль воспитания и форма взаимоотношений между родителями и детьми.

1. Инфантицидный стиль (с древности до IV в. н. э.) характеризуется массовым детоубийством, а те дети, которые выживали, часто становились жертвами насилия. Символом этого стиля служит образ Медеи.

2. Бросающий стиль (IV–XIII вв.). Как только культура признает наличие у ребенка души, инфантицид снижается, но ребенок остается для родителей объектом проекций, реактивных образований и т. д. Главное средство избавления от них – оставление ребенка, стремление сбросить его с рук. Младенца сбывают кормилице, либо отдают в монастырь или на воспитание в чужую семью, либо держат заброшенным и угнетенным в собственном доме. Символом этого стиля может служить Гризельда, оставившая своих детей ради доказательства любви к мужу.

3. Амбивалентный стиль (XIV–XVII вв.) характеризуется тем, что ребенку уже дозволено войти в эмоциональную жизнь родителей, его начинают окружать вниманием, однако ему еще отказывают в самостоятельном духовном существовании. Типичный педагогический образ этой эпохи – «лепка» характера, как если бы ребенок был сделан из мягкого воска или глины. Если же ребенок сопротивляется, его беспощадно бьют, «выколачивая» своеволие как злое начало.

4. Навязчивый стиль (XVIII в.). Ребенка больше не считают опасным существом или простым объектом физического ухода, родители становятся к нему значительно ближе. Однако это сопровождается навязчивым стремлением полностью контролировать не только поведение, но и внутренний мир, мысли и волю ребенка. Это усиливает конфликты отцов и детей.

5. Социализирующий стиль (XIX в. – середина XX в.) делает целью воспитания не столько завоевание и подчинение ребенка, сколько тренировку его воли, подготовку к будущей самостоятельной жизни. Этот стиль может иметь разные теоретические обоснования, от фрейдовской «канализации импульсов» до скиннеровского бихевиоризма и социологического функционализма, но во всех случаях ребенок мыслится скорее объектом, чем субъектом социализации.

6. Помогающий стиль (начинается в середине XX в.) предполагает, что ребенок лучше родителей знает, что ему нужно на каждой стадии жизни. Поэтому родители стремятся не столько дисциплинировать или «формировать» его личность, сколько помогать индивидуальному развитию. Отсюда – стремление к эмоциональной близости с детьми, пониманию, эмпатии и т. д.

Де Моз не ограничился изложением своей теоретической концепции. Его первые работы содержали интересный фактический материал, а основанный им в 1973 г. журнал «History of Childhood Quarterly» способствовал активизации исследований истории детства. Ряд ценных моментов есть и в самой его теории: критика романтической идеализации положения детей в прошлые эпохи; указание на исторический характер педагогического гуманизма; констатация растущего понимания взрослыми автономии и субъектности детей; мысль, что образ ребенка всегда содержит в себе какие-то проективные компоненты, без изучения которых невозможна история детства.

Тем не менее, взятая в целом «психогенная теория истории» является весьма односторонней и не выдерживает критики (см.: Кон, 2003).

Прежде всего вызывает возражение тезис о «независимости» эволюции взаимоотношений родителей и детей от социально-экономической истории. Как справедливо указывали уже при обсуждении программной статьи Де Моза видные историки, многие отмеченные Де Мозом особенности отношения родителей к детям объясняются не столько «проективными механизмами», сколько экономическими условиями.

Это касается, например, инфантицида. Детоубийство – не наказание, а просто избавление от лишних, нежеланных детей. Почти все занимавшиеся им антропологи, демографы и историки связывают распространенность инфантицида в первобытном обществе прежде всего с низким уровнем материального производства. Человечество, как и всякий биологический вид, всегда придавало большое значение продолжению рода. Деторождение почти всюду оформляется особыми священными ритуалами. Многие религии считают бесплодие самой страшной божественной карой, но нам не известны проклятия, обрекающие на повышенную плодовитость. Иными словами, все народы по-своему заботятся о потомстве, любят и выращивают его. Но от инстинктивной потребности в продолжении рода до индивидуальной любви к ребенку, благополучие которого становится смыслом и осью собственного существования родителей, – дистанция огромного размера.

Дело здесь не столько в психологии, сколько в экономике. Народы, стоящие на низшей ступени исторического развития, живущие собирательством, физически не могут прокормить большое потомство. Убийство новорожденных младенцев было здесь такой же естественной нормой, как убийство стариков.

«У бушменов мать кормит ребенка грудью до трех-четырех лет, когда можно будет найти подходящую для него пищу... Часто второй ребенок или даже несколько детей рождаются, когда мать еще кормит грудью первого. Но молока матери не хватает на всех детей, да и больше одного ребенка она не смогла бы носить на большие расстояния, которые проходит в поисках пищи. Поэтому нередко последнего новорожденного убивают сразу после появления на свет... Выжить могут только ребенок или дети, родившиеся после того, как первый новорожденный будет отнят от груди» (Бьерре, 1964).

Переход к производящей экономике существенно меняет дело. В хозяйстве, основанном на производстве пищи, детей уже в раннем возрасте можно использовать для прополки полей или для присмотра за скотом. Оседлый образ жизни и более надежная пищевая база также объективно способствуют более высокой выживаемости детей (см.: Чайлд, 1956). Отныне инфантицид перестает быть жестокой экономической необходимостью и практикуется не столь широко и в основном по качественным, а не по количественным соображениям. Убивали главным образом детей, которых считали физически неполноценными, или по ритуальным соображениям (например, близнецов). Особенно часто практиковался инфантицид девочек.

Сосредоточив все внимание на эволюции отношения родителей к детям и не всегда разграничивая реальную повседневную практику воспитания и ее символизацию в культуре, Де Моз упрощает проблему. Он не учитывает имманентной, универсальной амбивалентности отношения к детям, существующей на всех этапах исторического развития и присущей всякому возрастному символизму. Образ ребенка и тип отношения к нему неодинаковы в разных обществах, причем это зависит как от уровня социально-экономического развития, так и от особенностей культурного символизма.

Периодизация Де Моза откровенно европоцентрична. Впрочем, даже в европейской культурной традиции существует несколько разных образов ребенка, каждому из которых соответствует свой собственный стиль воспитания. Однако ни один из этих стилей, точнее – ценностных ориентаций, никогда не господствовал безраздельно, особенно если иметь в виду не нормативный канон, а практику воспитания. В каждом обществе и на любом этапе его развития сосуществуют разные стили и методы воспитания, в которых прослеживаются многочисленные сословные, классовые, региональные, семейные и прочие вариации. Даже эмоцио-

нальные отношения родителей к ребенку, включая их психологические защитные механизмы, нельзя рассматривать изолированно от прочих аспектов истории, в частности от эволюции стиля общения и межличностных отношений, ценности, придаваемой индивидуальности, и т. п.

Каждая культура имеет не один, а несколько альтернативных или взаимодополнительных (взаимодополняющих) образов детства. Известный английский историк Лоренс Стоун в одной и той же западноевропейской культуре выделил четыре альтернативных образа новорожденного ребенка:

1. Традиционный христианский взгляд, усиленный кальвинизмом: новорожденный несет на себе печать первородного греха и спасти его можно только беспощадным подавлением воли, подчинением его родителям и духовным пастырям.

2. Точка зрения социально-педагогического детерминизма: ребенок по природе не склонен ни к добру, ни к злу, а представляет собой *tabula rasa*, на которой общество или воспитатель могут написать что угодно.

3. Точка зрения природного детерминизма: характер и возможности ребенка предопределены до его рождения.

Такой взгляд типичен не только для вульгарной генетики, но и для средневековой астрологии.

4. Утопически-гуманистический взгляд: ребенок рождается хорошим и добрым и портится только под влиянием общества. Эта идея обычно ассоциируется с романтизмом, но ее защищали также некоторые гуманисты эпохи Возрождения, истолковывавшие в таком духе старую христианскую догму о детской невинности (Stone, 1979).

Другой автор (Sommerville, 1982) добавляет к перечисленным четырем образам еще один: будучи главным наследием, передаваемым из настоящего в будущее, дети, по выражению поэта Уолдо Эмерсона, – вечные мессии общества, воплощение его неотвратимого будущего.

Каждому из этих образов соответствует определенный стиль воспитания. Идее первородного греха соответствует репрессивная педагогика, направленная на подавление природного начала в ребенке. Идее социализации – педагогика формирования личности путем направленного обучения. Идее природного детерминизма – установка на развитие положительных и ограничение отрицательных задатков личности. Идее изначальной благодати ребенка – педагогика саморазвития и невмешательства. Эти образы и стили не только сменяют друг друга, но и сосуществуют, причем ни одна из перечисленных ориентаций никогда не господствует безраздельно, особенно если речь идет о практике воспитания. В каждом обществе, на каждом этапе его развития сосуществуют разные стили воспитания, в которых прослеживаются многочисленные сословные, классовые, региональные, семейные и прочие вариации.

Жестокое, по современным меркам, обращение с детьми, которое Де Моз выводит из особенностей психики родителей, тесно связано с нормативной культурой общества. Наказания, в том числе телесные, – это не столько разные формы насилия над детьми (*child abuse*), зависящие преимущественно от степени индивидуальной «репрессивности» или «либерализма» учителей и родителей, сколько компоненты принятой в обществе системы дисциплинирования, причем не только детей, но и взрослых.

Уже в начале 1980-х годов, впервые познакомив отечественную науку с идеями Де Моза, я указывал на их спорность и ограниченность. К сожалению, некоторые российские педагоги и психологи восприняли эту теорию не как материал к размышлению, а как нечто авторитетное и основанное на фактах. Де Моз не историк детства, а психоаналитик. Уже в 1976 г. журнал «History of Childhood Quarterly» был переименован в «The Journal of Psychohistory», что отразилось на его содержании. «Психоистория» остается на Западе сугубо маргинальной, профессиональные историки, социологи и антропологи ее всерьез не принимают, а после того как обиженный Де Моз стал голословно обвинять своих противников в защите педофилии, его

вообще перестали читать. По истории и антропологии детства, включая телесные наказания, существует гораздо более серьезная литература.

Прежде всего, что такое телесное наказание ребенка? Одно из лучших определений этого явления, широко распространенное в сравнительных исследованиях, принадлежит американскому антропологу Рональду Ронеру: телесное наказание – это «прямое или опосредованное причинение ребенку физического дискомфорта или боли родителем или другим лицом, обладающим властью над ребенком, обычно для того, чтобы остановить нежелательное поведение ребенка, предотвратить возобновление такого поведения или потому, что ребенок не сделал чего-то такого, что он/она должен был сделать» (Rohner, 2005).

Прямое причинение физического дискомфорта означает шлепанье, битье, порку или другие формы непосредственного манипулирования телом ребенка. Опосредованное причинение физического дискомфорта подразумевает требование к ребенку совершить некое болезненное действие, например заставить его стоять на коленях на гравии или горохе.

Чтобы понять природу и функции телесных наказаний, нужно определить степень их распространенности в разных странах мира и на разных стадиях социально-экономического развития общества и выяснить существующие в этой сфере жизни макроисторические тенденции: усиливаются телесные наказания или ослабевают и как меняется приписываемое им значение и смысл. При этом необходим максимально широкий географический, желательно – весь мир, и хронологический, вплоть до самых древних и архаических, охват культур и обществ.

До последней трети XX в. этнографы и антропологи ограничивались качественными сравнениями отдельных обществ. Затем появились статистические кросскультурные исследования и базы данных, изучение которых позволяет сделать определенные теоретические обобщения (об этих исследованиях подобно написано в моей книге «Ребенок и общество»). Самая большая база данных, так называемая Региональная картотека человеческих отношений (Human Relations Area Files, сокращенно HRAF), создание которой началось в 1937 г., хранится в Йельском университете и содержит сведения о различных сторонах жизни многих народов мира, сгруппированных по культурам и по предметам.

Чаще всего ученые просматривают не всю эту базу данных, а ее часть, называемую Стандартной кросскультурной выборкой из 186 культур. В разделе о социализации детей там представлены и наказания, которые подразделяются на:

- 1) дразнение (обидные прозвища), насмешки по поводу плохого поведения;
- 2) выговоры, словесные оскорбления, брань;
- 3) предостережения, угрозы от имени сверхъестественных существ и посторонних;
- 4) телесные наказания.

Другое количественное исследование (упомянутого выше Р. Ронера) посвящено влиянию на личность ребенка отношения к нему родителей. Закодировав двенадцать важнейших личностных черт (враждебность, активная и пассивная агрессивность и способы их обуздания; зависимость; самооценка; эмоциональная реактивность, способность свободно и открыто выражать свои чувства; мировоззрение, прежде всего представление об окружающем мире как потенциально положительном, дружественном или отрицательном, враждебном; эмоциональная устойчивость; потребность в достижении; самостоятельность; щедрость, заботливость, поведение в конфликтных ситуациях; ответственность), Ронер сопоставил эти характеристики с тем, насколько принимают (положительное отношение) или отвергают (отрицательное отношение) ребенка его родители в двухстах обществах из шести главных географических регионов, каждый из которых подразделяется на десять культурных зон.

Применительно к нашей теме в центре внимания ученых стоят три вопроса:

1. Насколько широко распространены в мире телесные наказания детей?
2. От каких социальных и культурных факторов предположительно зависит степень их распространенности и интенсивности (жестокости)?

3. Каковы их психологические корреляты, как они предположительно влияют на поведение и психику ребенка?

К последнему вопросу я вернусь позже, в пятой главе, а пока рассмотрим первые два.

Помимо многочисленных монокультурных и региональных исследований этой теме посвящены три статистических кросскультурных обзора (Barry et al., 1977; Levinson, 1989; Ember C. R., Ember M., 2005). Судя по их статистике, телесные наказания детей применяются во всех регионах мира, больше чем в 75 % обществ. Однако частота их применения существенно варьирует от культуры к культуре. По данным Левинсона, «часто» телесные наказания применяются лишь в 20 % человеческих обществ. Гораздо чаще родители используют другие, более мягкие техники дисциплинирования, такие как внушение и демонстрация примеров должного поведения, – они зафиксированы в 82 % обследованных культур (Barry et al., 1977).

Практически все исследователи согласны с тем, что телесные наказания есть элемент пакетного соглашения «социализаторов» и «социализируемых», характер которого тесно связан с другими свойствами культуры и социума. Поэтому распространенность и/или интенсивность телесных наказаний можно понять только в контексте. В каком именно контексте?

Чтобы не потеряться в частностях, воспользуемся последней обобщающей статьей ведущих американских специалистов в этой области знания Кэрол и Мелвина Эмбер «Объяснение телесного наказания детей: кросскультурное исследование» (Ember C. R., Ember M., 2005).

Под телесными наказаниями эти авторы понимают «битие, удары, причинение ран или синяков зависимому ребенку с целью его наказания, дисциплинирования или выражения неодобрения». Чтобы выяснить, от чего зависит распространенность таких практик, ученые разбили этнографические описания 186 доиндустриальных обществ (Стандартная выборка) на пять групп. В 1-й группе телесные наказания никогда не встречаются или встречаются редко, во 2-й – встречаются часто, но являются нетипичными, в 3-й – являются типичными, в 4-й – данные противоречивы, в 5-й – информация о телесных наказаниях отсутствует.

С помощью экспертов Кэрол Эмбер закодировала и распределила все эти культуры по трем категориям: 1-я – телесные наказания типичны, нормативны, 2-я – телесные наказания применяют часто, но они нетипичны, 3-я – телесные наказания встречаются редко.

Пример первого типа общества, в котором телесные наказания считаются важнейшим средством воспитания детей, – бедуины руала, живущие в Южной и Центральной Сирии и на северо-востоке Иордании. Этнограф Алоис Музиль, описавший их быт в 1910-х годах (Musil, 1928), сообщает, что главным воспитателем детей до семилетнего возраста там является мать, причем и мать, и отец, и даже слуги обоего пола часто бьют детей. Телесные наказания не только широко применяются, но и идеализируются. Руала считают, что палка возникла в раю и способствует тому, чтобы люди туда вернулись. Мальчиков 14–16 лет отец бьет за непослушание не только палкой, но и саблей или кинжалом. Руала верят, что это укрепляет мальчиков для будущей жизни.

Другой тип культуры – чилийские индейцы мапуче (арауканы). Хотя мапуче иногда телесно наказывают своих детей, эта практика не считается у них обязательной и зависит от конкретных обстоятельств. Маленького ребенка, еще не умеющего ходить, здесь никогда не бьют и не шлепают. Вообще телесным наказаниям подвергают только особенно непослушных детей, когда другие методы не помогают.

Третий тип культуры – канадские эскимосы-инуиты (Copper Inuit). Они вообще не бьют своих детей, предоставляя им максимум свободы. Инуитского ребенка, который плохо себя ведет, могут дразнить или наказывать как-то иначе, но к словесным угрозам или физическому воздействию взрослые прибегают редко. Если ребенок игнорирует родительские замечания, родители просто перестают с ним общаться, и это действует безотказно. Причем такой стиль воспитания остается у инуитов неизменным с 1913–1916 гг., когда этнографы его впервые зафиксировали.

В среднем по выборке телесное наказание детей является частым или типичным в 40 % обществ. От чего зависят эти различия и с чем они статистически коррелируют?

В предыдущих кросскультурных исследованиях самым важным предиктором – фактором, по которому можно предсказать наличие телесных наказаний, является социальная сложность (social complexity). Это понятие включает в себя целый ряд компонентов: наличие письменности и исторических хроник, оседлый образ жизни, развитие земледелия, определенный уровень урбанизации, технологическую специализацию, наличие наземного транспорта, денег, определенную плотность населения, степень политической интеграции и социального расслоения. Более сложная социальная структура и трудовая деятельность предполагают более строгий контроль за поведением взрослых, что побуждает родителей добиваться послушания и от ребенка, используя для этого и телесные наказания. Эмберы подтвердили эту закономерность: пять из десяти параметров социальной сложности (сельское хозяйство, деньги, плотность населения, политическая интеграция и социальная стратификация) коррелируют у них с частотой телесных наказаний детей.

Второй существенный фактор и возможная причина телесных наказаний детей – культура насилия. Кросскультурные (как и экспериментальные) исследования показывают, что различные формы агрессии и насилия подкрепляют и порождают друг друга. Там, где есть одна форма насилия, почти наверняка появится и другая. Например, частые войны коррелируют с увеличением числа убийств, нападений, распространенностью соревновательного спорта, враждебной магии и строгих наказаний за преступления (Ember C. R., Ember M., 1994). Физическое наказание детей коррелирует с избиением жен, агрессией между братьями и сестрами, жестоким наказанием преступников и причинением боли в женских инициациях (Levinson, 1989). Иными словами, телесные наказания детей – это часть общей культуры насилия.

Данные о связи телесных наказаний связаны с ростом числа социализаторов, то есть людей, участвующих в воспитании детей, оказались противоречивыми. Старые американские данные указывали на то, что социальная изоляция родителей усиливает вероятность физического наказания детей (Там же). Однако, по данным Эмберов, увеличение числа людей, ответственных за воспитание детей, не уменьшает, а увеличивает вероятность телесных наказаний. Общества, где за детьми ухаживают не родственники, а чужие люди, имеют более высокий индекс телесных наказаний, чем те, в которых эти функции выполняются преимущественно родителями.

Более очевидный, но весьма существенный вывод заключается в том, что общества, находящиеся в состоянии войны, чаще других применяют и оправдывают телесные наказания своих детей, видя в этом средство воспитания смелости. Наказывая своих детей, родители считают, что таким путем они учат их преодолевать боль, а это пригодится им во время войны.

Если телесное наказание детей является для родителей осознанным или неосознанным способом подготовки их к жизни в условиях социального и властного неравенства (power inequality), это будет проявляться и внутри одного и того же общества. Проверить эту гипотезу на материалах данного исследования Эмберы не могли, но высказали ряд предположений.

Во-первых, можно ожидать, что в социально стратифицированных обществах, вроде США, родители, находящиеся в низших слоях социальной иерархии, будут больше склонны прибегать к телесным наказаниям своих детей, чем высокопоставленные. На самом деле так оно и есть. Люди, находящиеся внизу социальной иерархии, сильнее ощущают давление социального неравенства и хотят подготовить к нему своих детей. Телесные наказания детей в английских аристократических школах этому, казалось бы, противоречат, но там наказание осуществляли не родственники, а штатные воспитатели, которые более склонны к применению телесных наказаний, чем родители.

Во-вторых, некоторые в прошлом эгалитарные народы, оказавшись под колониальным гнетом, склонны усиливать физическое воздействие на своих детей посредством телесных

наказаний. Статистически доказать это трудно, потому что большинство этнографических описаний относится к тому времени, когда колониальная власть уже была установлена, но отдельные факты такого рода известны. Это можно объяснить тем, что в патриархальном деревенском обществе от ребенка не ждут ничего особенного, а социальное расслоение побуждает родителей ставить перед своими детьми более высокие цели и добиваться осуществления этих целей посредством побоев.

В целом, заключают исследователи, полученные «данные указывают на то, что телесное наказание детей более вероятно в обществах, отмеченных властным неравенством, вызванным наличием социальной стратификации, или высоким уровнем политической интеграции, или наличием внешней власти... Телесное наказание детей не выглядит результатом того, что общество подчеркивает необходимость обучения послушанию, обучение послушанию не является независимым предиктором в нашем множественном регрессионном анализе (множественный регрессионный анализ – метод установления зависимости одной переменной от двух или более независимых переменных. – И.К.). Судя по тому, что общества, где заботу о детях осуществляют исключительно родители, стоят на низшей ступени по частоте применения телесных наказаний, а общества, где детей воспитывают неродственники, – на высшей, кажется, что биологическое расстояние увеличивает вероятность применения воспитателем телесных наказаний. Более частое нахождение в состоянии войны, что может отражать культуру насилия, также делает телесные наказания детей более вероятными».

Кросскультурные сравнения, проведенные супругами Эмбер, могут служить хорошей исходной базой для обсуждения проблемы телесных наказаний. Но исследования этого типа имеют и свои недостатки.

1. Прежде всего, встает вопрос, насколько полон и адекватно интерпретирован круг этнических общностей, сведения о которых подвергаются статистической обработке. В источниках данных могут быть существенные пробелы, обусловленные состоянием этнографической литературы или пристрастиями составителей. Между тем статистическое обобщение, основанное на неадекватной выборке, неизбежно будет односторонним. Наличие между сравниваемыми группами статистически значимой разницы средних показателей не обязательно подтверждает гипотезу исследователя относительно причин или сопутствующих обстоятельств выявленных различий; заключение от различий между выборками к различиям в представленных ими популяциях нельзя механически переносить на природу самого изучаемого социального или психологического явления.

2. Любая система кодирования культурных явлений прямо или косвенно отражает теоретические ориентации автора, здесь тоже возможен субъективизм. Непредвиденные вариации могут затруднить применение кодировочной системы или повлечь за собой искажение данных. Исследователь, опирающийся на ранее закодированные данные, может по-разному группировать их, но не может выйти за пределы концептуальных представлений кодировщика.

3. Остро стоит проблема надежности первичной информации, большая часть которой была собрана людьми, во-первых, не владевшими современной техникой полевых исследований, и, во-вторых, в связи с другими задачами. Если о каком-то явлении (например, о телесных наказаниях девочек, в отличие от мальчиков) сведений мало или их вовсе нет, это может объясняться и тем, что данное явление объективно редко встречается, и тем, что соответствующие культуры уделяли ему мало внимания, и тем, что собиравшие полевой материал этнографы не замечали этого явления, не придавали ему значения или даже умышленно замалчивали его. Никакая статистическая техника не может исправить этот недостаток.

4. Кодировочные категории кросскультурных исследований обычно фиксируют типичные образцы («паттерны») поведения и верований данного общества в целом, не принимая в расчет многочисленные социально-классовые и индивидуальные различия между его членами. Между тем существующие внутри данного социума вариации могут быть не менее значитель-



ными и важными, чем интерсоциетальные, межкультурные, существующие между разными социумами или этносоциальными организмами.

5. Кросскультурные исследования часто по умолчанию исходят из предположения о неизменности изучаемых образцов, обычаев и структур, особенно когда речь идет о таком консервативном явлении, как воспитание детей. Между тем это допущение теоретически сомнительно, а к динамически развивающимся обществам и вовсе неприменимо.

6. Сами возможности корреляционного анализа ограничены: то, что переменная  $x$  имеет тенденцию к единой связи, к образованию целого с переменной  $y$ , вовсе не означает, что  $x$  является причиной  $y$ . Более того,  $x$  может так же и даже более значимо коррелировать не только с  $y$ , но и с  $z$  или  $s$ , с которыми у нее нет явной содержательной, логической связи.

Некоторые обобщения Эмберов и их предшественников, например связь распространенности телесных наказаний детей с культурой насилия, кажутся бесспорными, интуитивно понятными.

Но почему телесные наказания коррелируют с «социальной сложностью»? Усложнение социальной структуры и общественно-трудовых отношений действительно приводит и к усложнению процесса социализации и порождает повышенные требования к детям, подкрепляемые, в частности, телесными наказаниями. В таком обществе детей не просто «пасут», но и формируют у них сложную мотивацию, потребность в достижении цели. Однако более сложная деятельность требует также от ребенка большей самостоятельности. С помощью палки или ремня можно заставить ребенка выучить наизусть молитву, но научить его таким путем самостоятельно и творчески мыслить невозможно.

За разными социально-педагогическими принципами стоит изменение процессов и форм социального контроля. Традиционное общество стремилось как можно строже и во всех мелочах контролировать поведение человека, независимо от его возраста. По мере осознания ценности индивидуальности человека значительно больше внимания уделяется контролю за мыслями и внутренними побуждениями членов общества. Отсюда – принципиально иное соотношение наказаний и поощрений и установка на формирование развитого самоконтроля. Иными словами, социальная сложность должна способствовать не усилению телесных наказаний, а их ослаблению. А может быть, это разные категории «социальной сложности»?

Не совсем ясен и вопрос о количестве и отличиях применявших и применяющих телесные наказания социализаторов. То, что посторонние взрослые (неродственники), которым доверено воспитание детей, телесно наказывают их чаще и строже, чем родители, подтверждается многими этнографическими описаниями. Но что за этим стоит? То, что посторонние социализаторы меньше любят доверенных им детей, чем их собственные родители? Или у них больше подопечных детей и с ними труднее справиться? А может быть, сами дети чаще жалуются на телесные наказания со стороны посторонних, чем со стороны своих родителей, которых в традиционном обществе критиковать не принято? Обсуждая соотношение телесных наказаний в семье и школе, мы не сможем обойти этот вопрос и увидим, что разница здесь не столько количественная, сколько качественная.

Вообще, далеко не все можно описать статистически.

Как и любой другой аспект социализации, телесные наказания детей связаны с множеством социально-структурных, культурно-символических и иных факторов. Это и социально-классовая структура общества, и род занятий населения, и особенности его гендерного порядка, и принятый в нем стиль социализации детей.

Сравнивая национальные стили воспитания по степени их строгости и соотношению наказаний и поощрений, необходимо всегда учитывать качественную сторону дела: как именно распределяются и воспринимаются награды и кары.

Способы дисциплинирования ребенка всегда прямо или косвенно соотносятся с его возрастом, причем здесь также существуют межкультурные различия. Эмма Голдфранк (Goldfrank, 1945) различает по этому признаку четыре типа обществ:

1. Общества, где и в раннем, и в позднем детстве дисциплина слабая.
2. Общества, где и в раннем, и в позднем детстве дисциплина строгая.
3. Общества, где в раннем детстве дисциплина строгая, а в позднем – слабая.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.